

На краю привычного мира: события и их фреймы

Виктор Вахштайн*

Аннотация. Статья посвящена изучению эффектов оповседневливания абсолютных событий — событий, разрушающих и создающих социальные порядки, а потому неизменно выбивающихся из течения рутинных практик. Автор исследует различные типы реакций повседневного мира на явления экстраординарного экзистенциального характера, возвращаясь тем самым к ключевому для социологии повседневности вопросу о связи обыденного и трансцендентного измерения социальной реальности.

Ключевые слова. Абсолютное событие, теория фреймов, «черный лебедь», эффект Керета—Стругацких, эффект Ровера, эффект Талеба, эффект Маккормика, эффект профанации, эффект Кеворкяна, эффект Корбута—Гарфинкеля.

Памяти Андрея Владимировича Полетаева

В одном из своих многочисленных интервью Джесс Лористон Ливермор заметил: «На Уолл-стрит всегда все одно и то же. Спекуляция стара, как этот мир, — сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом...». В 20-х годах Ливермор был крупнейшим из финансовых игроков; предвосхитив крушение рынков и последующую биржевую панику, он заработал на Великой депрессии более ста миллионов долларов. Однако в 1940 году Дж. Л. Ливермор покончил с собой после нескольких неудачных финансовых операций.

Недавние события на мировых финансовых рынках в очередной раз привлекли внимание исследователей к проблеме изучения неожиданных, уникальных и труднопрогнозируемых событий. Свидетельство тому — необычайная популярность книги Нассима Талеба «Черный лебедь: под знаком непредсказуемости» (Taleb, 2007), написанной им за два года до кризиса. «Черные лебеди» (TBS) — это маловероятные, непредсказуемые события, не вписывающиеся в наши способы мышления о мире и потому остающиеся «за скобками» привычных описаний и прогнозов. Подобно Фрэнсису Бэкону, Талеб описывает разные типы широкораспространенных идолов-заблуждений: *нарративных* (запоздалое вменение причины произошедшему событию на этапе его описания), *игровых* (использование игровых аналогий для моделирования мира), *ретроспективных* (вера в то, что будущие события можно предска-

* Вахштайн Виктор Семенович — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ им. А. В. Полетаева НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС, avigdor2@yahoo.com

© Вахштайн В. С., 2011

© Центр фундаментальной социологии, 2011

Статья представляет собой расширенную версию доклада, сделанного автором на конференции «Пути России 2010».

зять благодаря изучению прошлых). Воспользовавшись ситуацией замешательства, предшествовавшей коллапсу, Нассим Николас Талеб — в недавнем прошлом владелец хедж-фонда *Empirica LLC* и экономист-эпистемолог — по-своему напомнил аналитикам, что «реальность богаче всяких схем».

Впрочем, если с прогнозами у социальных наук всегда были проблемы (позитивистски мыслящие отцы-основатели не сдержали обещания создать точную дисциплину, способную предсказывать будущее), то теперь сомнения коснулись самой возможности описать непредсказуемое. Ведь так же, как предсказание строится на знании регулярностей, описание основывается на оптических возможностях языка — т.е. на представимости события его, языка, средствами. Я знаю, что солнце взойдет завтра утром, потому что оно делает это регулярно (для такого предсказания мне не нужно быть специалистом по астрономии и видеть за регулярностями закономерности), но я могу описать восход лишь постольку, поскольку в используемом мною языке есть подходящие для этого ресурсы. Благодаря таким ресурсам можно не только описать актуальный восход, но и вообразить его в будущем свершенном времени (*in modo futuri exacti*). И если некий «черный лебедь» астрономического масштаба сделает завтрашний восход невозможным, случайно выживший наблюдатель может обнаружить, что у него не хватает ресурсов для описания произошедшего, в его когнитивных схемах просто отсутствует подходящая ячейка для подобного рода событий¹.

Однако трудности для наблюдения и описания создают отнюдь не только «конечные» события, разрушающие определенный социальный порядок. События «начальные» — т.е. порождающие новый социальный порядок — схватить в языке не менее сложно². (Вынесем за скобки напрашивающееся здесь замечание, что всякое «конечное» событие может оказаться «начальным» в иной перспективе рассмотрения и в ином языке описания.) В социальной топологии такие события называются событиями *морфогенеза* (Ло, 2006; Том, 2002). К морфогенетическим событиям, например, относится учреждение новой нормативно-правовой системы. Принятие Конституции США американским конвентом не описывается в тех различиях, которые предлагает сама эта Конституция. Принятие основного закона как правоустанавливающее действие не принадлежит суверенной сфере права. Более того, «суверенитет» правовой системы и ее самозаконность обеспечены тем, что событие ее учреждения не подпадает под ее действие.

Отсюда парадокс. В основании суверенных социальных порядков, обладающих собственными языками описаний, лежат уникальные события (уникальные как минимум для этих порядков). Иными словами, уникальные события делают возможными все последующие операции наблюдения и самонаблюдения, осуществляемые в рамках данного порядка. Но сами эти события недоступны описанию на языке тех

1. Заметим, что реальность описаний не связана непосредственно с реальностью описываемых событий: описать можно и то, что в терминологии Гуссерля лишено «предиката существования» (но не лишено «предиката реальности» — реальность сообщается событию его описанием). Таким образом, проблема «неописуемости» заметно сложнее вопроса о существовании или не-существовании. Это проблема границ воображения, пределов оптических возможностей языка.

2. По крайней мере, в языке этого порядка.

порядков, которые они учреждают. Поэтому необходимость «вписать» в новый порядок учредительное событие, «переведа» его на им же созданный язык, — создать его воспроизводимую референцию. В качестве таких референций могут быть рассмотрены преамбулы к конституциям, космогонические мифы первобытных сообществ или отсылки к абсолютной ценности знания в инаугурационных речах университетских ректоров. В отличие от неповторимого уникального учредительного события, его референции в языке учрежденного им социального порядка воспроизводятся регулярно и доступны целенаправленным манипуляциям.

Далее мы сфокусируемся на напряжении между определенным классом событий (А. Ф. Филиппов предлагает называть их *абсолютными*) и социальным порядком, понимаемым прежде всего как порядок наблюдений и описаний. Меня особенно интересуют механизмы, позволяющие заместить или преобразовать абсолютное событие в нечто повседневное, рутинное и привычное — *эффекты оповседневливания*. Но сначала рассмотрим более подробно тот способ мышления о социальном мире, который предлагает социология анализа событийности.

Теория социальных событий исходит из допущения об атомарном, элементном составе социального мира. Атомом социальной жизни является событие — свершение в пространстве и времени, соотносимое с актом наблюдения единство³. К примеру, в месте X в момент Y собираются представители чего-то, называемого «академическим сообществом», и заслушивают выступление недавнего аспиранта о проделанном им исследовании. Если это событие сопровождается соответствующими атрибутами (часть из которых носит ритуальный характер), наблюдатель может квалифицировать его как «защиту кандидатской диссертации». Наблюдаемые атрибуты события играют роль считываемых маркеров — они дают наблюдателю ответ на вопрос «Что здесь происходит?»⁴. Событие защиты является уникальным для соискателя и вполне рутинным для академического социального порядка.

Таким образом, в семантике событийности центральное место отведено наблюдателю — именно он производит наблюдение, различает нечто в качестве события, дает этому событию именование и квалификацию. Именуя, наблюдатель пользуется языком определенного социального порядка — он помещает наблюдаемое событие в одну из ячеек системы различений. Эти системы различений мы вслед за Ирвингом Гофманом будем далее называть системами фреймов.

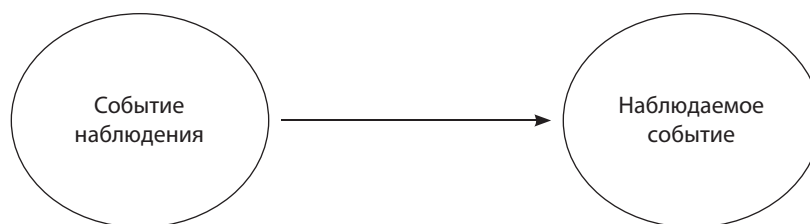
Сама механика различения, именованя и квалификации предполагает, что наблюдатель «вырезает» событие, придает ему определенность, пользуясь некоторым лекалом смысла. Именно поэтому событие не имеет длительности, оно моментально — смысл не может иметь протяженности во времени или пространстве. Наблюдатель события говорит «Это — защита диссертации», конституируя увиденное как «защиту» своими операциями различения и именованя. Далее возможны вариан-

3. Подробно о теории социальных событий см.: Филиппов, 2004; Davidson, 2001.

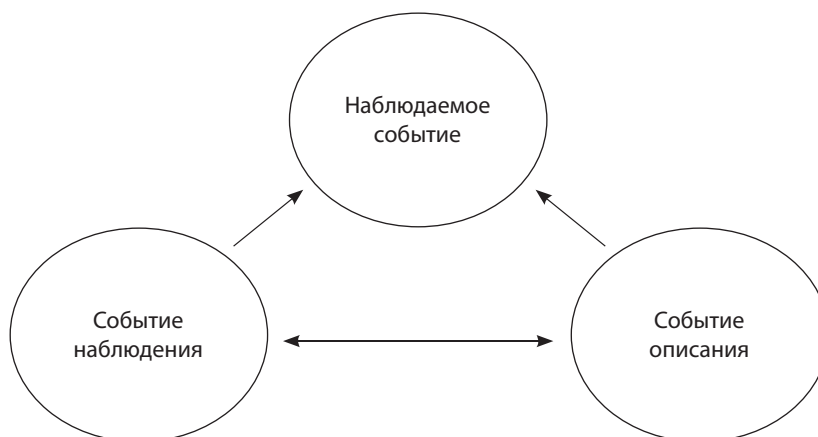
4. См. у Ирвинга Гофмана: «Я исхожу из того, что, оказываясь в какой бы то ни было ситуации, люди всегда задаются вопросом: „Что здесь происходит?“ Не имеет значения, ставится ли этот вопрос явно (в случаях замешательства или сомнения) или возникает по умолчанию (в привычных ситуациях), ответ зависит от способа поведения в данной ситуации» (Гофман, 2004: 68).

ты: наблюдатели разойдутся в своих квалификациях («Это не защита, а форменный бардак!»); может возникнуть борьба за право номинации и объяснения («Подобный бардак — следствие продолжительной деградации Академии наук»); могут быть оспорены сами критерии различения («Когда в зале треть совета, а в протоколе — все положенные по форме подписи, это называется фальсификация, а не защита»). Однако все вовлеченные наблюдатели совершают акты различения, именования, квалификации, тематизации, которые могут быть, а могут и не быть коррелятивны друг другу.

Следующий ход, предлагаемый теорией социальных событий, достоин особого внимания. Наблюдатель, конечно, живой человек, из плоти и крови. Он находится в пространстве и живет во времени. Однако совершаемые им операции различения сами являются событиями. Они могут быть представлены в качестве таковых наблюдателем второго порядка («Я видел, как он всю защиту сидел в углу, смотрел, делал записи, фотографировал и всеми средствами готовился оспорить легитимность нашего суверенного академического порядка»). Этот ход может показаться парадоксальным: «поскольку наблюдение мы также считаем событием, то обнаруживается парадоксальность события, взятого в двух аспектах: наблюдения и наблюдаемого» (Филиппов 2004: 16). Впрочем, если отвлечься от фигуры наблюдателя как «живого человека» со своими слабостями, интересами и мотивами, мы легко избежим парадокса. Событие наблюдения коррелятивно наблюдаемому событию, поскольку конституирует его:



Нет событий без наблюдений. Нет наблюдений без систем фреймов. Событие первый раз конституируется в наблюдении (когда наблюдатель применяет к нему определенный фрейм), но затем оно конституируется повторно — в *описании*. Чтобы транслировать свою квалификацию события в коммуникацию, наблюдатель должен перевести ее на язык того социального порядка, в котором эта коммуникация развивается. Описав, например, событие защиты как «нарушение формальной процедуры», «пренебрежение нормами академического сообщества» или «профанацию научного ритуала». Эта трансляция дополняет конститутивную связь «событие наблюдения — наблюдаемое событие» еще одним элементом.



Если наблюдаемое событие — это атом социальной жизни, то связка наблюдаемого события с событиями наблюдения и описания — это ее «молекула», устойчивый инвариант, имеющий место в самых разных социальных порядках. Отношения событий наблюдения и описания с наблюдаемым событием носят конститутивный характер. Это процесс создания события в актах различения, именованя, квалификации, а затем — в коммуникативном акте повествования. Отношения событий наблюдения и описания двусторонни. Наблюдение структурировано системами фреймов. Аналогичным образом описание структурировано фреймовыми категориями, всегда-уже-имплицированными в языке описания. Наблюдение и описание — суть две импликации применяемых к данному событию систем фреймов. Введение фигуры наблюдателя второго порядка позволяет рассмотреть события наблюдения и события описания как наблюдаемые события, которым коррелятивны свои события наблюдения и описания. *Et cetera.*

Не будем сейчас уходить в различение «настоящих» и «ненастоящих» событий. Нас не интересует, было ли событие «на самом деле», или наблюдатель конституировал его сразу же в повествовании (попросту соврал). Нас также не будет интересовать проблема «ложного наблюдения» — галлюцинаций или грез. Галлюцинации, сновидения, театральные представления, художественные тексты и игры являются суверенными реальностями *sui generis*, а значит, их стоит рассматривать как часть социальной жизни со своим событийным строением. Событие не перестает быть наблюдаемым событием и от того, что имело место не в физическом пространстве-времени, а в воображенном наблюдателем мире. Об этом — замечательная работа А. Шюца о множественности реальностей и вся проблематика симметричных процессов памяти/воображения в социальных науках (Шюц, 2003: 5). Лишь благодаря тому, что мы можем наблюдать еще не произошедшие события, проигрывая их в воображении, возможны предвосхищение и предсказание.

Описанная теоретическая схема в полной мере заражена первородным грехом социологии — релятивизмом. Событие не является чем-то «самим по себе», его онтологический статус крайне сомнителен. Событие — это событие-в-наблюдении-и-описании. Как наблюдатель его «вырезал», как квалифицировал, как описал, какой «квант смысла» атрибутировал, таким оно и будет. Можно, конечно, сказать, что идентифицировать нечто как событие X легко, а как событие Y уже сложнее (назвать фальсификацию на защите можно и «фальсификацией», и «защитой», но ее трудно назвать «символом научной рациональности» или «торжеством справедливости»). То есть различаемая наблюдателем ткань социальной жизни больше похожа на мрамор, чем на ткань, — он не просто «вырезает» из нее события по лекалу фрейма, он высекает фигуру из сопротивляющегося материала; прожилки в мраморе облегчают различение одних событий и осложняют идентификацию других. Но это, пожалуй, все, что есть в данной схеме от онтологической проблематики. Произвол наблюдателя ограничен дважды: языком наблюдения/описания («трафаретом фрейма», «лекалом смысла») и онтологическим сопротивлением материала («прожилками в мраморе»). Тем не менее из приведенного описания видно, что ограничения эти не симметричны — онтология играет гораздо меньшую роль. И если бы не один особый класс событий, то можно было бы говорить о тотальной диктатуре фреймов, систем различения,

языков описания, которые делают «видимыми» одни события и «невидимыми» другие.

Этот класс событий предлагается называть абсолютными (точнее, «абсолютными событиями первого рода»). Абсолютные события противостоят событиям относительным. «Членение относительных событий, — пишет Филиппов, — зависит от правил внимания и тематизации, согласованных сообществом наблюдателей. Таким образом, социальное внимание к событию имеет решающее значение для его квалификации... Вместе с тем существуют события, которые, так сказать, не „окружены“ иными событиями и соотнесены с прочими событиями как индуцирующие, но неиндуцируемые. В горизонте событий они носят, как правило, характер *предельный*. Таковы прежде всего события начала и прекращения существования, среди которых для нас важнее всего *рождение и смерть*. Сюда относятся *учредительные* события, как подлинные, так и мифические, с которых начинается отсчет хронологии исторических событий. Наконец, сюда относятся события *сакральные*, т. е. обладающие статусом явления трансцендентного в посюстороннем» (Филиппов, 2005: 24).

Итак, абсолютные события крайне сложно свести к конституирующему вниманию наблюдателя или используемой им системе фреймов. Они выламываются из всех различений, упорно отказываясь вписываться в ячейки когнитивных схем. Они обладают *принудительной релевантностью* — их нельзя не заметить. Они перформативны: абсолютные события скорее создают новые системы различений, чем описываются уже существующими. Именно поэтому возникает пауза между абсолютным событием и событиями его описания — у наблюдателей не сразу появляются определения происшедшему, обнаруживается дефицит квалификаций. Благодаря абсолютным событиям трансцендентное напоминает о себе наблюдателям, погруженным в рутинные, повседневные взаимодействия. Они, наблюдатели, регистрируют предсказуемым образом повторяющиеся события, помещают их в отработанные и надежные системы фреймов, дают им многократно обкатанные интерпретации. И делают это до тех пор, пока не происходит нечто, ломающее их социальный порядок, рвущее цепочку наблюдений и описаний. Когда это происходит, практики становятся поступками, социальное оборачивается экзистенциальным, появляются неожиданные интонации у самых обыденных взаимодействий. Абсолютное событие «прожигает» ткань повседневности. Как замечает по этому поводу Бернхард Вальденфельс: «Часто неизвестное является нам в соединении внезапного и могущественного. В первую очередь это относится к моментам возникновения, преобразования, опасности уничтожения индивидуального и коллективного жизненного порядка, а точнее, к рождению, периоду половой зрелости, к полетам воображения, к болезни и смерти, а также к закладке города, к войнам и революциям, к возникновению Вселенной и природным катастрофам и часто встречающимся сегодня крупным авариям» (Вальденфельс, 1991: 42). Список абсолютных событий у Вальденфельса более всего напоминает борхесовскую энциклопедию животных⁵, но, несмотря на гетерогенность, он очень точно передает основную интересующую нас интуицию — интуицию не-повседневности.

5. Напомним, что согласно этой классификации, животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бро-

Этот тезис можно релятивировать, задав ряд классических социологических вопросов: чьей повседневности?, для кого абсолютное? И действительно, трудно говорить об абсолютном событии, абстрагировавшись от границ социального порядка и его языка. Абсолютное событие является абсолютным лишь для некоторого сообщества наблюдателей. Легко не заметить мировой финансовый кризис, если он не затрагивает ваших финансовых интересов. Можно не заметить геноцид в Руанде, образование Косовской государственности, серию революций в Латинской Америке. Можно не заметить аварию на Чернобыльской АЭС. Возможно, даже конец света не обязательно обладает принудительной релевантностью для бесстрастного космического разума. Однако мы исходим из того, что ни один физически существующий наблюдатель не занимает привилегированной позиции космического разума, а потому для каждого наблюдателя, каждой системы фреймов и каждого языка описаний класс потенциально возможных абсолютных событий не пуст.

Являются ли абсолютные события уникальными? Они уникальны для данного конкретного сообщества наблюдателей, поскольку непосредственно связаны с самим фактом его существования (а не с операциями наблюдения/описания). Для нас же важно другое. Разговор об абсолютных событиях в социологии — это попытка положить предел релятивизму внутри собственно социологической теоретической модели. Представление о существовании уникальных абсолютных событий, наделенных особым онтологическим статусом, которые взламывают социальный порядок, прямо противоположно идее о предикатах «уникальности» и «абсолютности», которыми наблюдатели в рамках конвенций своего языка наделяют те или иные события. Иными словами, мы исходим из того, что революция переопределяет социальный порядок, делая возможными одни наблюдения/описания и невозможными другие, чем, собственно, и обеспечивается ее особый онтологический статус. А не из того, что сообщество, «испытывая потребность в конструировании собственной идентичности» или «легитимируя произошедшее структурное изменение», именуя некоторое событие «революцией» и наделяет его статусом «уникального», «абсолютного», «сакрального».

Абсолютные события впоследствии могут быть подвергнуты де-абсолютизации: то, что недавно переживалось как уникальное, не имеющее аналогов, потрясающее основы, оказывается привычным, рутинным и повседневным. Системы фреймов наносят ответный удар: можно жить в плохо предсказуемом мире, но невозможно жить в мире неопишуемом и неразличимом. «Дыры», оставленные абсолютными событиями в ткани повседневности, быстро зарубцовываются, затягиваются новыми рутинными практиками и новыми именованиями. Это процесс регенерации повседневного мира, который Вальденфельс вслед за Максом Вебером называет «оповседневливанием» (*Veralltäglichung*).

Перечислю несколько эффектов, возникающих в этом процессе лишения уникальных событий их особого статуса. Благодаря таким эффектам процесс регенерации повседневности становится различимым, наблюдаемым и квалифицируемым.

дях собак, з) включённых в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух.

1. *Эффект Керета—Стругацких (эффект апроприации)* по своему действию является прямой противоположностью «эффекту остранения» Шкловского—Брехта. В. Шкловский использует понятие «остранения» для анализа изображения вещей Л. Толстым, приводя в качестве примера описание события оперного представления в «Войне и мире»:

«...Во втором акте были картины, изображающие монументы, и были дыры в полотне, изображающие луну, и абажуры на рамке подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей».

Толстой, утверждает Шкловский⁶, намеренно использует такое описание события, которое делает его странным и непривычным. Это — его способ борьбы с автоматизмом читательского восприятия, подменяющим видение узнаванием. Поскольку «автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны», то «приемом искусства является прием... затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия». Привычное в жизни должно стать странным благодаря языку искусства. Позднее Бертольд Брехт разовьет эту мысль в теории «*Verfremdungseffekt*»⁷.

Эффект остранения делает знакомое чужим и непривычным. Эффект апроприации, напротив, проявляется в описаниях чуждого и загадочного как легкоузнаваемого и привычного. Так же, как и эффект остранения, механику апроприации легче всего заметить в художественных повествованиях. Например, вторжение марсиан в повести братьев Стругацких рутинизируется, опривычивается, становится чем-то

6. Речь идет о программной статье В. Шкловского «Искусство как прием».

7. Не пересказывая известную полудетективную историю термина «остранение» (которая связана с типографскими ошибками, ложными этимологиями и обратными переводами), подчеркнем ее влияние на историю социологии. Питер Уинч в книге «Идея социальной науки и ее отношение к философии» предостерегает социологов от чрезмерного увлечения «эффектом остранения»: «Мы не отрицаем, что иногда полезно использовать механизмы, подобные „экстернализации“ Вебером своего описания ситуации. Оно может сослужить службу, привлекая внимание читателя к аспектам, которые настолько очевидны и знакомы, что иначе он их пропустит... С другой стороны, его можно сравнить с *Verfremdungseffekt*, которого стремился достигнуть Бертольд Брехт в своих театральных произведениях, или с использованием Карадогом Эвансом диковинных дословных переводов с валлийского в его зловещих сатирических историях о западном Уэльсе. Цель всех этих механизмов — вытряхнуть читателя или зрителя из его довольной миопии, к которой может привести слишком близкое знание чего-то. Опасность заключается в том, что пользователь таких механизмов может привыкнуть к мысли о *своем* способе взгляда на вещи как на что-то более реальное, чем обычный взгляд» (Уинч, 1996: 89). Позднее все, связанное с социологическим остранением привычных социальных феноменов и их вырыванием из контекста в целях анализа, будет заклеено критиками социальных наук как «методологическая ирония». Так, борьба с остранением и иронией в социологических нарративах становится популярным инструментом критики социальных наук этнометодологами (Андерсон, Шеррок, 2010).

естественным и логичным. Описанием этого события повесть начинается и заканчивается. Сравним два нарратива.

До апроприации:

«Около часу я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня».

После апроприации:

«Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустили на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли, сразу видно, что не наши...» (Стругацкие, 2008).

Если остранение — это деконтекстуализация описываемого события, его намеренное выведение из контекста, то апроприация — напротив, помещение его в узнаваемый и привычный нарративный контекст. Писатель, сделавший апроприацию одним из основных своих литературных инструментов — Этгар Керет, в рассказах которого события экстраординарные (убийство премьер-министра, авиакатастрофа, природные катаклизмы, террористический акт, геноцид) представлены как самоочевидные, само собой разумеющиеся⁸. Впрочем, разбор используемых им писательских приемов уведет нас в область филологии.

Тем не менее обращение к литературным повествованиям неизбежно, когда речь заходит об эффекте Керета—Стругацких. Апроприация осуществляется в нарративе. В самом наблюдении ее еще нет. Этот эффект возникает лишь на этапе описания события, когда наблюдатель становится нарратором. Поняв, как работает эффект апроприации в литературных текстах, мы легко сможем распознать его действие и в других типах повествования.

2. *Эффект Ровера*, он же *эффект типизации*. В отличие от эффекта Керета—Стругацких, который характеризует конституирование события в описании, типизация проявляется уже в наблюдении. Операция наблюдения и регистрации события толь-

8. См.: «Солдаты извинились за то, что застрелили меня. Было темно, дело происходило вблизи от границы, и алюминиевая трубка в моей руке была похожа на оружейный ствол...» (Керет, 2009).

ко и становится возможной благодаря системам фреймов, а потому фреймирование события (еще до построения нарратива о нем) предполагает некоторые типизирующие способности наблюдателя. Так же как апроприация экстраординарных событий в нарративе отсылает нас к литературоведческим исследованиям, типизация события воспринимающим субъектом — исконная область феноменологии. Альфред Шюц следующим образом обосновал интерес социолога к типизации: «...мир, в котором мы живем, состоит из ограниченного числа объектов с более или менее определенными свойствами; объектов, среди которых мы передвигаемся, на которые мы можем воздействовать и которые сопротивляются этому воздействию. Однако ни один из этих объектов не воспринимается как изолированный. Он изначально помещен в горизонт уже знакомого и известного, воспринимается как неоспоримая данность до последующего упоминания, не проблематизированный, но в любое время проблематизируемый запас наличного знания. Непроблематизированный предшествующий опыт, однако, изначально дан как *типизированный*, т. е. несущий открытый горизонт ожидаемого сходного опыта» (Шюц, 2004: 11).

Шюц (вслед за Гуссерлем) развивает идею антиципации — предвосхищения свойств некоторого объекта благодаря знанию иных объектов «того же типа». Типизация делает мир предсказуемым. Но что если объект является «специфичным», несводимым к некоторому предзаданному набору свойств определенного типа? Во всяком случае, несводимым к нему полностью? Для последовательного феноменолога даже глубоко индивидуальные свойства объекта воспринимаются в типизированной форме: «...мне не нужны никаких специальных средств, чтобы думать о конкретной собаке как об экземпляре всеобщего понятия „собака“. Мой ирландский сеттер Ровер „в целом“ демонстрирует все типичные черты, которые, согласно моему прошлому опыту, подразумеваются в понятии „собака“. Однако меня не интересует то, что присуще ему наравне с другими собаками. Я вижу в нем своего друга и товарища Ровера, и в качестве такового отличного от всех прочих ирландских сеттеров, имеющих общие с ним черты внешности и поведения; я не склонен, не имея на то особой причины, видеть в Ровере млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя я и знаю, что всем этим он тоже является» (Шюц, 2004: 11). Иными словами, то типическое, что есть в Ровере, для Шюца нерелевантно.

Система релевантностей Шюца делает Ровера «экстраординарным». Но это не значит, что у Ровера нет иных, типических черт. «Это значит, — продолжает Шюц — что если объект S имеет специфическое свойство p , выражение „ S есть p “ является эллиптическим. Ибо S , взятое в его явленности мне как неоспоримой данности, не обладает лишь свойством p , но также и q , и r , и множеством других. Так что полное высказывание следует читать: „ S есть, помимо q и r , еще и p “. Если я утверждаю по отношению к само собой разумеющимся элементам мира „ S есть p “, то делаю это потому, что при данных обстоятельствах меня интересует бытие S в качестве p , безотносительно к его бытию в качестве q и r ». Иными словами, типические характеристики объекта есть всегда. Мы лишь отвлекаемся от них, чтобы сделать более явными его специфические характеристики, но это не означает, что из-за своей «экстраординарности» объект перестает принадлежать к некоторому типу.

В какой мере то, что феноменологи пишут о восприятии объектов повседневного мира, справедливо для восприятия социальных событий? Ирвинг Гофман в «Анализе фреймов» показал, что феноменологическая логика вполне пригодна и для такого типа исследования. Если в фокусе нашего внимания остается та же напряженная граница между типическими и специфическими свойствами S (независимо от того, является ли S объектом «ирландский сеттер Ровер», рутинным событием «кормление ирландского сеттера Ровера» или экстраординарным событием «смерть ирландского сеттера Ровера»).

Типизация основывается на операциях рядоположения и мышления по аналогии: «это как ...». (Еще раз взглянем на первое описание вторжения марсиан — описание события до апроприации.) Именно поэтому типизация может позднее проявиться в нарративах о событии в виде его метафорического уподобления чему-то привычному. Однако более естественный для нее нарративный механизм — *метонимия*. Взгляд наблюдателя не просто «считывает» событие как «похожее на» другие, более привычные события. Он встраивает его в тот же класс, полагает его продолжением ряда «точно таких же» событий. Неслучайно сразу же после первых сообщений о мировом финансовом кризисе в российских СМИ появилась серия материалов, последовательно сравнивавших происходящее с дефолтом 98-го года, кризисом 91-го и — что особенно любопытно — с американской Великой депрессией. В каждом из описаний специфические свойства события оставались в тени типических свойств «финансового кризиса».

«Специфические свойства» события — это то, что сопротивляется операциям типизации. Представление их в качестве общетипических есть преодоление этого сопротивления. Ресурсом такого преодоления является здравый смысл как особая система релевантностей мира повседневности. Типизация позволяет увидеть даже самые неоднозначные и необычные события в перспективе здравого смысла, а значит — применить к ним устойчивую, многократно опробованную интерпретацию. Впрочем, этот шаг отсылает нас уже к другому эффекту.

3. *Эффект Талеба* — эффект рационализации плохопрогнозируемых и трудноописываемых событий. Начнем с примера. Сотрудники международных миссий ОБСЕ перед дислокацией обязаны заполнить ряд форм. (Степень бюрократизации наблюдательской практики исключительно велика и подобных форм может оказаться более двадцати.) Одна из форм — так называемая форма № 5, или «Designation of beneficiaries form», — представляет собой завещание, но завещание крайне формализованное и написанное бюрократическим языком. Будущему наблюдателю предстоит подтвердить, что «...в случае его внезапной смерти в ходе миссии следующие лица (не более четырех) должны получить все деньги, причитающиеся ему от ОБСЕ, а также от страховой компании и специализированного „Provident Fund“ ОБСЕ (если применимо); ему также надлежит оставить формальные инструкции, касающиеся распределения этих сумм в процентном соотношении между указанными лицами, проживающими по указанным адресам».

Формализация (заполняющему требуется лишь проставить имена, адреса, процент и подписаться) — это нечто большее, чем простая формальность. Она позволяет

легче представить себе событие собственной смерти как подлежащее калькуляции и рациональному планированию. Заполняющий эту форму человек становится «менеджером в сфере собственной смерти», и чем меньше ресурсов воображения ему требуется для ее заполнения, тем лучше. (Случаи отказа от участия в миссии в последний момент, на этапе заполнения завещания, удивительно редки.) История завещаний и практик страхования жизни представит нам немало примеров эффекта Талеба.

Этот эффект раскрывает несколько новых направлений в анализе оповседневливания экстраординарных событий. Одна линия рассуждений вернет нас к ключевому для социологии начала XX века вопросу: «Что всеобъемлющий процесс рационализации привнес в картину мира современного человека?». С этим вопросом тесно связан другой, центральный для экзистенциальной философии: «Как в результате научного расколдовывания мира изменилось понимание жизни и смерти?». Макс Вебер за ответами обращается к Льву Толстому и приходит к выводу, что такое экстраординарное событие, как событие собственной смерти, заметно легче переживалось досовременным человеком, который, живя в еще не расколдованном мире, легче мирился с существованием абсолютных событий (Филиппов, 2006). (Вероятно, скрупулезное социологическое исследование истории завещаний и страхования жизни позволит лучше разобраться с генезисом эффекта рационализации.) Другая же линия рассуждения позволит провести параллель с эффектом рационализации в психоанализе.

Для психоаналитика рационализация — один из нескольких фиксируемых в клинической практике защитных механизмов. Примером рационализации являются действия лисы из басни И. Крылова, отказывающейся от винограда не потому, что она не может его достать, а потому, что он «зелен — ягоды нет зрелой». Или поведение алкоголиков, находящих рациональные основания регулярного употребления спиртного («Я, когда трезвый, за руль вообще не сажусь, потому что боюсь по этим дорогам ездить»). Важно, что психоаналитической рационализации всегда подвергаются события в прошлом; их последующее «оздравосмысливание» позволяет человеку не просто примириться с произошедшим, но представить его неизбежным, закономерным, логичным. Напротив, эффект Талеба основан на рационализации будущего экстраординарного события, рационализации *in modo futuri exacti* — в будущем свершенном времени. Она совершается в воображении (точнее, в наблюдении и описании воображаемых событий). Такая темпоральная локализация отличает эффект Талеба от апроприации, совершающейся постфактум в описаниях нарраторов, и от типизации, всегда уже-присутствующей в самом наблюдении.

4. *Эффект рутинизации (эффект Маккормика)* тоже обладает особой темпоральностью. Если мы рационализируем события в будущем свершенном времени («как если бы это уже произошло»), то рутинизация экстраординарного происходит в модусе *present indefinite*: «такое случается». Абсолютное событие утрачивает свой уникальный статус вследствие регулярного повторения. Уникальное перестает быть уникальным, когда становится регулярным. Революции не происходят по вторникам, геноцид не совершается в каждый второй понедельник месяца, техногенные катастрофы не повторяются подобно падению Сизифова камня, и умираем мы не так, как делает это птица Феникс.

Уникальные события разрушают сложившиеся рутины. Терракт в метро ломает повседневный социальный порядок; взрыв в подземке страшнее авиакатастрофы еще и потому, что метро — вероятно, самый рутинный, повседневный вид транспорта. Но как происходит рутинизация, опривычивание самих уникальных событий? В результате их повторения. Повторение террористических атак заставляет воспринимать их как что-то, скорее, встроенное в социальный порядок, нежели противостоящее ему. (Отсюда черная израильская шутка: «Обедать лучше в той пиццерии, которую на этой неделе уже взрывали».)

В определенной перспективе эффект рутинизации является всего лишь разновидностью эффекта типизации (эффекта Ровера). Однако есть одно существенное различие, позволяющее выделить его в отдельный класс эффектов описания экстраординарных событий. Типизация происходит всегда здесь-и-сейчас. Это моментальная когнитивная операция, укорененная в самом акте восприятия события как события определенного рода. Напротив, рутинность события — следствие его воспринимаемой регулярности, а не одной лишь типичности. Мы должны быть уверены в том, что происходящее здесь-и-сейчас — не просто «типичный случай» (кражи кошелек, потери ключей, автомобильной аварии), а случай, уже имевший место в недавнем прошлом и, скорее всего, обреченный на повторение: у меня *опять* украли кошелек, я *снова* потерял ключи и — *уже который раз* — поцарапал машину.

Именно поэтому мы предлагаем назвать эффект рутинизации по имени Кенни Маккормика — персонажа, регулярно умирающего без причины, воскресающего без объяснений, и тем открывшего нам новые грани проблематики абсурда трансцендентного в имманентном⁹.

5. *Эффект профанации* не универсален. Он наблюдается только у определенного класса абсолютных событий — событий, имеющих сакральный статус. За чудесами угадываются технические декорации, за экстраординарными способностями — трюки, за мистическими совпадениями — случайность, за учредительными событиями — политические подтасовки. Смысл профанации выразил Александр Галич в песне о десакрализации имени Сталина: «Кум докушал огурец и промолвил с мўкою, оказался наш отец, не отцом, а...».

Любопытно, что десакрализующие события — события превращения сакрального в профанное — также могут впоследствии наделяться особым статусом. XX съезд (как пример такой операции) стал учредительным событием для нового социального порядка, поскольку сделал возможными принципиально иные наблюдения/описания.

6. *Эффект институционализации (эффект Кеворкяна)* также не универсален. За ним стоит попытка подчинить абсолютные события логике кодифицированных нормативных порядков — ритуалов, сценариев, законодательных актов. Для того чтобы убийство стало приемлемым, оно должно получить статус «смертной казни». Легали-

9. По крайней мере, такова точка зрения Карин Фрай (Fry, 2007). Создатели сериала впоследствии испортили эту изящную экзистенциалистскую линию интерпретации, предложив сверхъестественное, но вполне очевидное объяснение «загадки Маккормика».

зация эвтаназии в Нидерландах, суд над доктором Кеворкяном в США, калифорнийский закон «О праве на смерть» (1977) и некоторые другие юридические прецеденты проливают свет на специфику институционализации абсолютных событий. Жесткая ритуальная структура похорон, видимо, призвана вернуть событие смерти из мира трансцендентного в мир социальный. Целая серия институтов работает на «блокирование» абсолютных событий. С помощью такой институциональной механики повседневность регенерируется, восстанавливается, заделывает те бреши, которые оставляет в ней абсолютное событие.

7. Наконец, *эффект детализации* (или *эффект Корбута—Гарфинкеля*). Он проявляется прежде всего в аналитических описаниях абсолютных событий — т. е. в описаниях, разлагающих описываемое событие на нерядоположные ему элементы. Чтобы перестать видеть лес, нужно начать внимательно разглядывать деревья. (Именно это с успехом продемонстрировали этнометодологии после пятидесяти лет якобы «неаналитических» исследований повседневной жизни.) Чтобы авиакатастрофа перестала считываться как абсолютное событие, нужно дать ей детальное профессиональное аналитическое описание. Этим эффектом хорошо иллюстрируется тезис об атомарной природе событий. Он также позволяет понять, почему абсолютные события как единства особого рода крайне сложно «схватить» в языке строгого научного исследования, не нарушив требований жанра.

Этот список эффектов — лишь набросок возможных проявлений оповседневливания. Он не претендует ни на аналитическую строгость, ни тем более на полноту. С его помощью мы обозначили горизонт тем, связанных с напряжением между интуициями абсолютного и повседневного в исследованиях социального мира. В заключение сформулируем несколько вопросов для дальнейшего осмысления.

Каковы пределы оповседневливания и чем они задаются? Можно ли сказать, что абсолютные события наделяются особым статусом постфактум, вследствие работы сложной коммуникативной машинерии квалифицирующей происходящее для обобщенного массового наблюдателя? Существование эффектов оповседневливания опровергает подобное утверждение. Особый статус гарантирован этому классу событий не фабрикой интерпретаций, а их онтологией — тем, что, свершаясь, они меняют порядок потенциальных наблюдений и описаний (т. е. само строение этой фабрики). С их приходом становится невозможным то, что было возможным раньше, а значит, не сообщество (как эксклюзивный дистрибьютор сакрального, уникального, трансцендентного) конструирует некоторые события в качестве абсолютных, но сами эти события делают возможными свое наблюдение сообществом. Все, что остается сообществу (если использовать этот термин для замещения несколько громоздкого концепта «частный социальный порядок, понятый как порядок наблюдений и описаний»), — заполнять лакуны, подыскивать определения, предлагать описания, бороться за интерпретацию.

Что существование абсолютных событий означает для нашего понимания смысла события? Смысл события мы определили через его соответствие определенной ячейке в когнитивной схеме наблюдателя (системе фреймов). Таким образом, смысл основывается на возможности различения и квалификации; наблюдатель видит нечто,

распознает это благодаря своей системе фреймов, квалифицирует его как «событие X» и дает ему описание на языке того или иного социального порядка. Но абсолютные события выламываются и из этой схемы. Они превосходят имеющиеся у наблюдателя схемы различения, переопределяют самого наблюдателя. А значит то, что конституирует их как единства особого рода, плохо схватывается нашей теоретической схемой.

И, наконец, что означает внимание к абсолютным событиям и их последующему оповседневливанию для социологических исследований повседневного мира? Прежде всего признание того факта, что именно неповседневные, предельные события делают возможной привычную для нас архитектуру повседневности; что за сложившейся рутинной может стоять рутинизация, за рациональным обоснованием — рационализация, за общепринятым суждением — апроприация, за распространенным ритуалом — институционализация и т. п. Это признание само по себе не лишает суверенности мир повседневных действий, его не стоит расценивать как предложение поискать «подлинные» основания «псевдоестественных» событий. Оно лишь обозначает границы того, о чем можно говорить на языке социологии повседневности¹⁰.

...Действительно, когда лопата ломается о скальный грунт, мы должны прежде усомниться в качестве лопаты и лишь затем — поверить в твердость онтологических пород. Но само это сомнение возможно лишь постольку, поскольку твердые онтологические породы периодически выходят на поверхность повседневной жизни.

Литература

- Андерсон Д. К., Шеррок У. У. (2010). *Ирония как методологическая теория: эскиз четырех социологических вариаций* / пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 9. № 1. С. 53–65.
- Вальденфельс Б. (1991). Повседневность как плавильный тигль рациональности / пер. с нем. М. В. Воронцова // СОЦИО-ЛОГОС. Вып. 1: Общество и сферы смысла / под ред. В. В. Винокурова и А. Ф. Филиппова. М.: Прогресс. С. 39–50.
- Вахштайн В. С. (2009). *Между «практикой» и «поступком»: невыносимая легкость теорий повседневности* // Социологическое обозрение. Т. 8. № 1. С. 61–69.
- Волков В. В. (2009). *Слова и поступки* // Социологическое обозрение. Т. 8. № 1. С. 56–60.
- Гофман И. (2004). Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / пер. с англ. Р. Е. Бумагина и др. под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. М.: Институт социологии РАН.
- Керет Э. (2009). Когда умерли автобусы / пер. с иврита Л. Горалик. М.: Текст.
- Ло Дж. (2006). Объекты и пространства / пер. с англ. В. С. Вахштайна // Социология вещей / под ред. В. С. Вахштайна. М.: Территория будущего. С. 223–243.
- Том Р. (2002). Структурная устойчивость и морфогенез / пер. с франц. Е. Борисовой и А. Родина. М.: Логос.
- Стругацкий А., Стругацкий Б. (2008). Второе нашествие марсиан // Понедельник начинается в субботу. М.: ЭКСМО. С. 609–706.
- Уинч П. (1996). Идея социальной науки и ее отношение к философии / пер. с англ. М. Горбачева и Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество.

10. См. в развитие этого тезиса дискуссию о трансцендентном и повседневном: Волков, 2009; Вахштайн, 2009.

- Филиппов А. Ф. (2004). К теории социальных событий // Логос. 2004. № 5 (44). С. 3–28.
- Филиппов А. Ф. (2005). Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2. С. 6–25.
- Филиппов А. Ф. (2006). Политическая эзотерика и политическая техника в концепции Карла Шмитта // Полис. 2006. № 3. С. 121–135.
- Шюц А. (2003). [О множественности реальностей](#) / пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 3. № 2. С. 3–34.
- Шюц А. (2004). Обыденная и научная интерпретация человеческого действия / пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН. С. 7–50.
- Davidson D. (2001). *Essays on actions and events*. Oxford: Clarendon Press.
- Fry K. (2007). Oh my God! They killed Kenny... again: Kenny and existentialism // *South Park and philosophy: you know, I learned something today* / ed. by R. Arp. London: Blackwell. P. 77–86.
- Taleb N. N. (2007). *The black swan: the impact of the highly improbable*. New York: Random House.